Айги Геннадий 14.1.95.

Антология

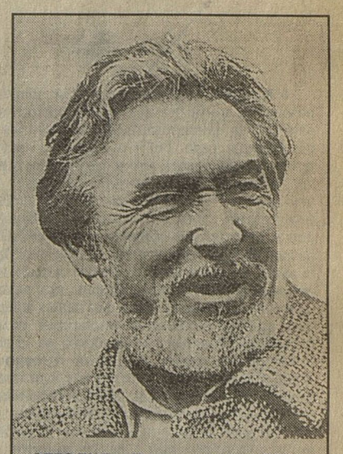
Блок 10 № 7 Суббота, 14 января, 1995

Виктор Ворошильский

Сегодня.-1995-14 янв.-с.13

Белый псевдоним молчания Бога

Выступление 1.12.1994 в парижском Центре Помпиду



«СЕГОДНЯ»: Прошлогоднее 60-летие Геннадия Айги отмечалось — без преувеличения — во всем мире. Не очень жалуя юбилейные публикации, но безмерно уважая Геннадия Николаевича Айги, мы отдаем ему первую «Антологию» «некруглого» 1995-го. Перед вами статья выдающегося польского поэта, прозаика, общественного деятеля Виктора Ворошильского, к которой можно добавить — что мы и сделали — лишь стихотворные тексты самого Геннадия Айги разных лет.

В высказываниях Геннадия Айги привлекает внимание категория, к которой он обращался в течение многих лет, а именно категория **трагичности**, играющая значительную роль как в его мышлении о поэзии, так и в принятии существенных для его поэтической судьбы решений, включая основное решение перейти в собственном творчестве с чувашского языка на русский.

Отвечая на вопрос, заданный в упор в одном интервью: «Почему вы пишете по-русски?», поэт в первую очередь сослался на следующий резон: «Для меня искусство отмечено печатью трагичности. В то время, когда я формировался как поэт, трагичность я ощущал в пространстве русского языка. С помощью этого языка я мог высказаться «до предела», «до конца», «всем моим я».

Десять с лишним лет спустя, в связи с составленной им и изданной в Чебоксарах антологией польских поэтов на чувашском языке, Айги в письме варшавскому другу признался, что работа над переводами — это относилось главным образом к новейшим поэтам — была очень трудной, почти мучительной, потому что чувашский язык, который много столетий назад обрел своеобразную иератическую законченность, упорно отталкивает открытый трагизм современной самотерзающейся «цивилизации» (кавычки принадлежат автору письма). «Говорю это, — досказывал Айги, — о современной европейской (и здесь — особенно о польской) поэтике. *Но это нам придется принять. Чтобы вообще выжить*». (Подчеркнуто тоже автором письма.) Наконец, он отмечал, что ему лично удалось приблизиться к сущности одного переведенного им на чувашский язык польского стихотворения благодаря своей русской «ипостаси».

И еще несколько лет спустя, в августе 1994 года, характеризуя в очередном интервью цикл «Время оврагов» (1982—1984) как свою «самую апогейную книгу по драматичности, трагизму», он назвал ее в то же время «как бы польской книгой», вершиной которой является малая поэма «И: Едино-Овраг», посвященная павшему в Варшавском восстании 1944 года поэту Кшиштофу Камилю Бачинскому. Дальше приводятся другие имена — все в контексте творчества, отмеченного трагизмом, памятью о геноциде, вернее, о геноцидах, о насилии, о массовом уничтожении людьми людей, в котором Айги усматривает парадоксальное, необъяснимое явление, в прямом религиозном смысле «апофатическую загадку», по его выражению. Последнее из этих имен — Владислав Броневский, который напоминает чувашско-русскому художнику, что — я цитирую — «поэт вообще обречен на высшие пробы трагического на самом себе и вообще его долг, его мужество — трагизм существования людей принять на себя и через себя выражать... трагизм многих людей выразить как собственный и за это расплатиться...»

Надеюсь, то, что здесь приводятся высказывания Айги, адресованные польским собеседникам или корреспондентам и в связи с его общением именно с польской поэзией, не будет сочтено какой-то моей навязчивой идеей. Мне просто удобнее обратиться к этим примерам; думается, что и в других контекстах нетрудно найти формулировки, родственные этим.

Я хочу вернуться к переломному в биографии поэта моменту перехода с одного языка на другой. То, что Айги сказал на эту тему польскому журналисту, можно развить следующим образом: народная чувашская поэзия — а ведь понять, как она прекрасна, помог нам именно благодарный сын этого народа, способствуя изданию антологий этой поэзии на других европейских языках — отражает, как многие народные культуры, мир, которым управляет установленный извечно порядок, ощущаемый как сакральный и позволяющий выразить себя единственно посредством соответственного идиома, испробованного поколениями. Этот мир имеет, конечно, свои тайны, но они являются **табу**, с которого язык традиционной поэзии не смеет и не пытается сорвать покров. Таким образом, нет сообщения между ним и миром хаоса, разрушения, двусмысленных и смертоносных утопий, существование которого поэт сознает, он его видит и прикасается к нему — также и здесь, на родной земле, отнюдь не пощаженной кровавыми божествами войны, террора, строительства совершенного государства, то и дело пожирающими гекатомбы жертв. Поэтому лишь он, новый поэт своего народа, создаст это сообщение, делая таким образом взрастившую его культуру менее беззащитной по отношению к продолжающемуся ходу истории. Он использует при этом параллельно две стратегии: во-первых, не рискуя изобретать совершенно на ощупь языковой инструмент для личного лирического высказывания, он обратится к ресурсам языка Пушкина и Хлебникова, которым превосходно владеет, — и найдет там столько, сколько ему нужно, слов и мест междусловного молчания, столько понятных или требующих усилий, чтобы их понять, знаков — одновременно обретая для начала хотя бы небольшой круг «читателей-соратников», готовых и способных к таким усилиям. Во-вторых, на почве родного чувашского наречия он предпримет кропотливый эксперимент прививки ему того, что выработали другие языки, другие культуры, которым пришлось вступать на широких просторах европейской истории в единоборство со всеми разновидностями ее убийственной, трагической сущности. Так, после переводов Маяковского и других русских поэтов будут созданы на чувашском языке фундаментальные антологии: «Поэты Франции», «Поэты Венгрии», «Поэты Польши», а не исключено, что в будущем и другие, потому что внутренний опыт поэта включает и чеха Волькера, и латыша Чакса, и немцев во главе с Ницше и Рильке, и шведа Транстрёмера, и других. Ведь Геннадию Айги сопутствует убеждение, что прививка эта, как бы ни была она трудна и мучительна, является благотворной для культуры народа, долго отстраняемого от современной «цивилизации», для его выживания не в тесноте резервата, а во всей полноте своих духовных возможностей. Категория сакрального порядка должна быть сохранена, но равные права с ней в пределах одной и той же культуры должна обрести категория трагического разлада.

Поэт прямо обозначает сцену, на которой развертывается эта человеческая трагедия — называя места уничтожения (Аушвиц), места грубого насилия (Жемайтия и город над Влтавой). Он указывает на эту сцену, также упоминая имена и судьбы подлинных персонажей, таких, как Франц Кафка, Тадеуш Боровский, Рауль Валленберг, Осип Мандельштам, Варлам Шаламов, а также убитый «неизвестными злоумышленниками» ближайший друг поэта, блестящий переводчик немецкой литературы Константин Богатырев. Но при всей определенности таким образом построенной сцены следует отдавать себе отчет, что в действительности пространство пульсирующего в поэзии Айги трагизма не вмещается в ее границы, не вмещается вообще ни в какие границы и ни в какую определенность, потому что перед лицом того, что поэт называет «апофатической загадкой», любая определенность, любое заключение в окончательную формулу являлось бы неприемлемой узурпацией. Отсюда — почти с первых шагов Айги — роль символов, о точной расшифровке которых можно спорить, роль слов-ключей, наконец, роль недосказанностей и полос красноречивого молчания. Если взять, к примеру, раннее стихотворение — 1960 года! — «Смерть», одно из нескольких произведений, посвященных кончине горячо любимой матери поэта, то на первый взгляд мы увидим в нем простую лирическую запись, увековечение грустной минуты в жизни человека. Это несомненно так, но в то же время содержание названного стихотворения намного сложнее. Напомним гораздо более позднее высказывание поэта: «То, что называется родиной, может быть, это просто моя мать — ее страдания, ее терпение, ее выдержка, смирение и необычайная самоотверженность». Итак, умирание матери «в этой ничьей деревне», где «нищие тряпки на частоколах казались ничьими», — это, кстати, цитаты из другого стихотворения того же времени, — есть одновременно ужасающее умирание обнищавшей родины. А дальше в рисуемой автором картине появляются «сугробы», под которыми он видит «горы языческих жертвоприношений», — не предвестие ли это созданного четверть века спустя «Времени оврагов», которое сам поэт растолкует в еще более позднем (1994), уже цитировавшемся интервью: «Овраги здесь символ уничтожения, который, кстати, иногда не понимают...» И наконец, в том же сравнительно раннем стихотворении (т. е. «Смерть») — как и во многих более поздних — снег, который я некогда пытался расшифровать, в частности, в связи с архетипическими ресурсами русского символизма (в творчестве В. Соловьева, В. Гофмана и других) как хаос бытия, Душу Мира, взбунтовавшуюся против Божественной Гармонии, а затем (как у Блока) — как вьюгу революционной деструкции. В концовке стихотворения Айги о смерти матери:

А снежинки
все несут и несут на землю
иероглифы Бога... —

снег, возможно, обозначает также неразгаданную и трагическую неизменность человеческих судеб. По-видимому, также не случайно последний из своих до сих пор опубликованных по-русски сборников поэт назвал «Теперь всегда снега», а его заключительную часть — «Все дальше в снега»... Не называя в этот раз прямо самой существенной для него в жизненном и поэтическом плане категории трагичности, Айги употребил здесь ее известный по всему творчеству поэта, белый, как молчание Бога, псевдоним.

НИКОЛАЙ ДРОННИКОВ

Геннадий Айги

ВИ́ДЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ (Альберто Джакометти)

Скульптура? введение Плюса в Пространство
(второе работает — на первую); здесь же —
Пространство называется — Минусом: введением —
Н е т и я.

Пространство = Скульптура. И — больше. (Шаг —
невозможен. Молчанье.)

О Скудость, — пред-Чудо. И — в н е м
останавливаться. (Дальше — не помнить.)

1967

СНЕГ: ВИЖУ — ЗА ВАС (Новогоднее)

Виктору и Анджею

1

Редкий и медленный — снег: о не-наше
спокойствие! И — с «содержанием»:

все же, Существенного!..

(Твердо: пора — без кавычек. С открытостью
детской — в язык: напролом.)

Вот я — немного. И вижу — за вас. Снег, как
«душа», — что-то помню об этом, — будто давно
уже **нечто** без боли! — и как «информацию»
я повторяю: «вы — в интернированности» —
но добавляю из места **чего-то**: вы — чудо сиянья
(я знаю) людей! Вижу — за вас (и одно остается:
овраги; молчание; вижу; овраги).

Снег — как-в-Повонзки-процессия, снег.

2

Малое гетто я знал — расширялось в Огромное:
жизнь проходила, проходит.

Слышное — сталь (закрываясь — дверями —
в мозгах).

Где ты, Господня Игла — острием: для меня! —
отыскать — да хотя бы подобие боли! — о насквозь
— умерщвленность! (Знаю и больше, и покрываюсь
— молчаньем.)

Снег — о единственная (не «адресованная»)
Детскость: над нами.

3

Каждая **дружба** — порезом была по живому... —
искал — а во что превращали — **двойничеством**:
тех (что известно): **Без-Спин**?.. — просто:
пришли — будто в гости! — железом «погладили»;
в «свободу» пустот водворили с «талантами» —
как с содержимым в желудках! — «брат»
говорил — отвечали **дознаниями** — будто
местами иудиными рядом с удавкой! — псевдо-
присутствием эха:

мертвостью звона-как-оборотня:

«армий» — «народов»! —

вскинули это над полем-Россией — в качестве
знамени-трупа: вот, умудрились, что «жили» и
«были» — под сводом таким: умерщвленностью-
небом.

4

А снег, — непокорностью-чудом, — общий для
«жизни» и памяти, — снег.

5

И — есть же Земля; я сужу по метелям; я «душу» не
помню; но знаю: «другие» еще продолжаются! —
где-то — метели оврагов! — и слезы дочерние-
женские: в полночь — в молчащей стране:
омывание чистого — чистым.

«Снег», — говорил ты. И — «поле». Теперь между
ними — удар-как-огонь: это — мертвая сталь, — о
прислушайся, Музыка! — сталь — воплощение
взятого: вновь — у рабов.

Все же, метели повонзские-женские, слезы — как
день остановленный! — жизнь проходящая.

Сталь — закрывается: в Мире-Раскрытости.

Снег.

О, колебанье Безмолвия: боль — это просто: не
знаем, что боль.

(Гул-Накопление.)

30 декабря 1981

СТИХИ НА КРЕСТИНЫ

Е. Ж.

1

зима приближалась с юностью мира
вздрагивали
(снег за дорогой за ними)
ветки
(такие
живя
письмена)

2

знал я что точкою света (а даль — словно до́ма)
миру (твердеть наклоненному) девочка-свет

3

ясно: круги от **такого**: и не остановят: круги

4

там где обратно сжималось живущее-многое
сжималось
в «о Господи»
(и распадалось: не тьму ли
о Господи
в точку обратную
сжать)

5

вдруг (озареньем): Другие Круги
ищут-как-точек — других-вроде-«мы»

6

о Парадокс! не теряя
Ширь Бесконечную!
«там» (если можно так выразиться)
собой Оставаясь — сюда

7

зима приближалась а детскостью мира
девочка-свет

там — за дорогой — за снегом
была — словно дома
и братьями юности — ветки
были
для этого дня — письмена

1981

СЛУЧИВШЕЕСЯ В ДЕКАБРЕ

И. А.

Вышел с рюкзаком из подъезда, направился к
троллейбусу, сел, уехал (кажется, никого не утрудил
провожаньем — до метро, до вокзала).

Звонок: «привезли». Дом через улицу. На двух
столах (одного не хватило) — цинковый («вот они
какие, оказывается») гроб.

Максимального, должно быть, размера (серийное
производство): кажется, на метр длиннее, чем — в
данном случае — было необходимо.

Чтобы годилось **для всех** (видимо, с учетом —
поколения **акселератов**).

Что-то знаю о **бункере**; ночное дежурство; направо
— бесконечность (твердеющая в сталь), и та же
пустынность — налево (и тоже — поблескивающая
сталью — как маревом дальним); пространство, все
более, — мозг? или кровь? посредине — рука-и-
оружие; скоро — оружие-**сам**-будто сплав! и —
против себя, или — **той** пустоты?

Сумел — отменить т а м себя. Но на то не хватило,
чтобы — не утруждать: погрузками (несколько раз),
таскáнием — в дом, увезеньем, потом —
зарываньем.

На то не хватило, чтобы **убрать** самому — «душою»
иль «чем-то» — убрать: в «небеса» или в нечто
подобное? — называвшееся: телом. Сделать так,
чтобы даже его — не оставить.

1981

ВСЕ ДАЛЬШЕ В СНЕГА

После гибели Т. Х.
(или — «Памяти ангела»)

Бываешь — Прям?
ну что же —

опять я — зная всю никчемность
упоминаю Силу — словом:

— всю ту же нечтость Глыбы-Анонима
верней — Аморфности-да-Анонима-тьму! —

(итак — подбрасывают нам — к р у ш е н ь я !.. —

движенье-аноним: руками смертных
столь мощно Рушит — «не мытьем так катаньем»:

поверишь — Не-при-я-ти-ем!..) —

Содержится ль — как «что-то» — в прахе?
мы — средь останков: «как-то» там
не просто... не одни останки... —

(быть может — и движений нет...) —

..... —

пора — на пробу:
выпадом
разрывом! —

я — заскорузл — из древней глуби нов
забытой мною прямотой:

— я сплю — давно духовным сном
а снег
работает в полях — в ложбинах — как крестьянин
(скромней поэта истинный поэт)
и просыпаюсь — воплощеньем
какой-то новой тишины — без просьб
держащейся как в прахе воздух —

когда уже не страшны и возмездья
которыми лже-небеса бесцентровые
свисают в снах из бедных сил!.. —

не говорю «я так живу» — движенье-жизнь моя
слабей желаний-ходьб:

— и где-то только суета Пост-Фактум
перетворцов — все тех же переделателей
все той же Призрака-Страны —

а пустота — такая вот огромность
моя — пустая: Право Равнодушия —

(не людям ложь! — самоотмена слова) —

и все же — завершеньем — вею:

я — осыпаюсь: будто в мире су-ще-ству-ю-щем
все ту же нечтость тьмы-и-анонима
«господней» — **по привычке** — именуя
в видениях без боли сотрясаю
отвалами моими и паденьями:

как черноту безвидности-безмира! —

а бездна никакая — а удары
из ни-ка-кой-то-сти! и с чем разрыв? —

когда во всем — безместно — но во всем

лишь безымянность и отсутствие —

и для того — чтоб более я был?.. —

теперь уже и этого не нужно:

(а что Е м у - Ч е м у — да впрочем что и мне...) —

и меньшим дрогну я — чтоб завершиться большим:

пора — самоотменою оставить
то что казалось (или было) лучшим —

(да будет это — проблеском последним):

Что-Светло-Даже-То-Что-Мне-Уже-Не-Веровать! —

(уйдя — давно уже — в снега)

1986—1987

ДВА ЭПИЛОГА

1

чистота тропинки
простота воды —

и такое небо — будто снится
этой выси — никому не ведомая
очень — даже очень уж — другая
бедность ясная Земли —

в нас немного говорящей:

«пока мы в мире есть
дым — в трубах изб — играет»

2

что-то тускло-белое больничное
в поле двигало скольжения
— дай нам Бог лечиться этой тишиной —
и дорога за окном как за воротами
угасала все сырее и грустнее
«вот и весь» шепталось будто «путь земной»

1994, д. Денисова Горка (Тверской области)

176